

Светлана ВАСИЛЕНКО

ЗА САЙГАКАМИ

РАССКАЗ

Я люблю эти вещи, написанные вчера, как сегодня, и сегодня — как вчера. Люблю древний взгляд задумчивых детей и младенчески сияющие васильки на чеканных, опаленных лицах стариков. Как и этот странный рассказ, попавшийся мне, конечно, «случайно» на назначенной криптограмме сопричастных дорог. А рассказу, оказалось, уже лет двадцать пять-тридцать, и кипение обреченных иллюзий в нем принадлежит совсем молодому, ранимому, профессионально притворяющемуся теперь зрелым и искусственным автору.

Есть такое обвальное мироощущение в проживании вещей до конца концов, до крайнего головокружительного предела, за которым и открывается их исконная глубина и неигрушечная бездна, те коробочки, что вложены одна в другую единым провиденциальным движением и что сухо постукивают одна о другую, обваливаясь карточными домиками и выстраиваясь нерукотворно в чертоги. Но люди дышат и бытуют поверхностно. И Светлана Василенко, как всякий большой автор, верным движением снимает с читательских глаз молочные бельма вещного мира, наматывая их на острое хирургическое перышко мастера и героя всамделишно голых иллюзий. Она пишет ни для кого и для Кого-то, кому твердит: я поняла, я вижу, я смею. И — распахнутыми глазами отлежанной души всех Иванушек-дурачков, всех прозябающе спящих красавиц — с ней прозревает и причастный существу читатель.

В этой ожившей живописи, писанной короткими выпуклыми мазками, мощный зрительно-повествовательный ряд, слагающийся во внутреннее кино. И этот врожденно-изобретенный прием еще ощутимее в более поздних, известных вещах писателя: мы читаем ее фильмы, мы смотрим ее прозу. Она пишет мир всегда впервые, наново, будто до нее ничего и никого не было, сотворит его с Творцом и удивленно наблюдает за отпущенным творением, в котором всегда проглядывают диковато наивные черты нового, непретворенного. Чувственна ее непорочность и непорочна ее чувственность, поданная детски, с недвижно и невидяще вбирающими глазами блаженно оглашенного.

Наш, прошлый, век разрешился зияющим провалом и состоявшейся подменной сущего и Божьего на выхолощено потребимое, усредненно утилитарное. На то, что нельзя и невозможно любить. Антимузыка, смертопись и квазилитература проводят свои крикливые «биенале», растворив окна на помойку и истово молясь на черный квадрат Малевича, являющий собой их одномерное посмертное бытие. Грядущий хам уже пытливо разглядывает публику из дуроскопа. Он здесь. С нами. Он улыбается.

Именно поэтому я приглашаю читателя выключить назойливый черный свет и отправиться за реликтово человечными героями этой тревожной, лепной и ощутимо рельефной кинопрозы назад, от эстуария к истокам: «туда-туда, в родные дали» — на ловитву души. За сайгаками.

Александр Радашкевич

Саше Ладошкину

Этого парня с длинным, почти безгубым ртом я где-то видела, казалось, что совсем недавно. Он смотрел на меня так пристально, как умеют смотреть только люди с бесцветными прозрачными глазами, оттого что главное в таких глазах — зрачки; этого парня на дно реки положить и над рекою склониться — в озноб бросит от пристального упорного черного льда со дна, будто и нет воды, будто один на один со зрачками. Лучше не смотреть. Я и не смотрела в его сторону, но мучительно хотелось повернуться и по-шутовски раскланяться с ним (и столько раз мысленно репетировала этот поворот и поклон, что по-настоящему заболели мышцы шеи). Я никак не могла вспомнить, где видела его (но видела! где-то видела! человек, который смеется? может, оттуда? но нет — сама когда-то видела — именно этот рот, этот длинный провал, называемый ртом, этот одновременно жалкий и насмешливо-презрительный рот — не поймешь: плачет или смеется?). И вся моя голова горела от нетерпения вспомнить, и я тихо покачивала головой, будто встряхивая калейдоскоп, помогая клеткам мозга передвигаться, чтобы, блуждая и натываясь друг на друга, радостно нашлись бы и воскресили — и свет, и запах, и мелкий камешек в руке — ненужный, но воскрешенный, — ведь был, и от него потела ладонь, — все бы воскресло, но не воскресало, и вдруг — да, да — чердак, слезавшаяся, затвердевшая пыль, на которой не оставалось следов: под босыми ногами она бесшумно растрескивалась, — голубиное гнездо и двое мертвых птенцов с неестественно длинными перевесившимися через край гнезда синими шеями; страшно сиреневое между хрящиками, печально-длинные рты, и их голые темно- (темное выступило снизу, недавно) голубые тела, и холод этих тел, холод, ни на что не похожий, ни на холод живого, ни на холод навсегда мертвой материи, это был холод смерти живого, которое уже мертво, но еще — не распад, не тление (распад и тление приносят новую теплоту — как начало новой формы не-жизни) — да, я держала в руках смерть, она беззащитна, у нее тонкая голубая кожа, и если надавить на кожу пальцем, остается вмятина, так и остается, будто всегда была, и она холодная, не так, чтобы очень холодная, но этого холода пугаются пальцы, будто предчувствуя, будто до себя дотрагиваются — через столько-то лет, когда умрут.

Там был еще третий птенец. Он был жив. Перевесив шею, как его братья, через край гнезда, он собирался умирать. Но пристально смотрел он на меня, он раззевал жалкий и одновременно презрительный длинный рот; он был почти такой же холодный, как его мертвые братья или сестры, но там, под тонкой кожицей, билась и билась жизнь, и моя жизнь обрадовалась его жизни и поспешила спасти ее.

Я поила птенца молоком, он спал в кроличьих шкурках, но все больше холодел, ведь он долго лежал с мертвыми и заразился от них холодом. Я положила его к себе под мышку и заснула, я ведь хотела как лучше, ведь он пригрелся, а когда я проснулась — птенца не было. Были — выдавленные кишки его, пустая голая шкурка и горько-насмешливый длинный рот. Я заспала его.

Я вспомнила это, я горько нашла то, что искала: вот где я видела этот рот, и нигде больше. Но было, было что-то еще в моей памяти, тот некий камешек в потной руке, и это было вот что: там, уже на чердаке, я знала, что этот птенец похож на кого-то, что где-то видела уже этот рот. Круг замыкался, но никак не мог замкнуться. Я устала. В конце концов нашла: похож на птенца. Чего же еще? В конце концов, сидим в ресторане. И я успокоилась.

Мы с Ириной сидели в ресторане, зал был огромен, но пуст: был будний вечер. Был прожит тяжелый день, день солнечного затмения, и, говорят, много людей

умерло в этот день. Четыре столика подряд были заняты, все как будто прижались друг к другу, стараясь не глядеть на огромное пустое пространство зала, на блики пустых столов, будто люди, которые должны сегодня сидеть за ними, не смогли прийти, потому что умерли. Было полутемно, и над нами шелестели вентиляторы, словно захмелевшие и потому потерявшие способность улавливать какие-то свои хитрые волны летучие мыши, неуклюже ворочались, отбрасывая на потолок тени своих уродливых крыльев.

Было тихо и грустно в ресторане, и мы все почему-то разговаривали шепотом.

Окно было закрыто, и там, в обнаженной пустоте вымершего мира, качался засохший от жары вяз. Шума ветра не было слышно, и казалось, что вяз качается сам по себе в неподвижном пространстве, расшатывая сам себя, и в своей тупой обреченности был почему-то похож на китов, выбрасывающихся на берег.

И долго я смотрела на вяз, и он стал неподвижным, а качались мы вместе со столиками, едой и питьем, и почудилось, что только двенадцать человек и осталось в этом ресторане от всего человечества, что мы — десять мужчин и две женщины — и есть человечество, и боимся потерять друг друга, спаслись и жадно глядим друг другу в глаза, потому что плыть предстояло далеко, но никак не могли отплыть от неподвижного вяза...

Но это было не так: четверо расплатились и ушли, и на их место пришли еще четверо — совсем молодые лейтенанты в полевой форме и совсем не старый майор, звездочки его были новенькие, счастливо и гордо блестели они в полутьме погон. И эти четверо знать ничего не знали о нашем ковчеге, о всемирном потопе и о солнечном затмении: днем они спали в потных постелях купейного вагона, по очереди ходили в крепко и навечно пропахший мочой липкий туалет, по очереди и вместе приставали к горластой проводнице («проводница, проводница — шелковистые ресницы»), пили спирт (по-сибирски — полоскали спиртом горло, а потом глотали); затем сбросили свои чемоданы в номера гостиницы и вот снова пришли пить, стараясь раскидать скорее свои командировочные, — в пустой ресторан, надеясь уйти оттуда не одинокими.

И уже начиналась игра, ради которой, скрывая друг от друга и от себя, пришли в ресторан мы. Вернее, она началась давно, тогда, когда официантка с усталонебрежной усмешкой профессионала, знающего все правила этой игры, со взглядом, полным скорбного всеведения, с высокомерностью отрешенного человека, организующего, но не участвующего и презирующего эту игру, посадила нас под единственно горевшей в зале люстрой, так что волей-неволей на нас должны были смотреть все. Эта официантка была похожа на учительницу, и я совсем по-детски вдруг начала стесняться ее.

Я стеснялась своего платья, хотя оно было красиво и шло мне. Просто я всегда ощущала какую-то страшную зависимость свою от одежды. Открытые платья приводили меня в трепет: я чувствовала невидимую работу постоянно размножающихся клеток кожи на руках, ногах, шее, груди; руки, ноги, шея и грудь были как что-то отдельное от меня, независимо и самостоятельно существующее, имеющее свои, несхожие с моими мысли и желания, и, беспомощно и беззащитно открытые, они вызывали во мне смутную жалость к бесполезности их жизни, не соединенной с моей, и смутное знание, что их жизнь — их неудержимое стремление к обновлению и красоте всей природы, — главнее и значительнее, чем моя жизнь. И потому, когда они были открыты — они управляли мною, я их боялась. И потому умирала свою плоть закрытыми — до подбородка — свитерами, я ходила в брюках — и плоть моя спеленутая молчала, изредка вскрикивая. А сейчас я сидела в платье, его змеиный зеленый шелк стал моей кожей, и оно чувствовало мое пока еще боязливое и смущенное тело, постепенно понимающее и чувствующее, что сегодня будет его, тела, праздник, его, тела, торжество. И я осторожно и трудно привыкала к этому чувству и к этой мысли тела.

Офицеры разглядывали нас, как знатоки разглядывают монету, суетливо-тщательно и с равнодушием и достоинством посвященных, дабы не попасться на фальшивке, и с нетерпением истинных коллекционеров; невзначай прикусить: золото, подделка? Стоит или не стоит связываться?

Потом мы услышали приказ майора: «Худенькая твоя, а мне потолще. Действуй!»

И «мой» лейтенант, быстро склонившись к столу и опрокинув в себя рюмку и выдохнув в лицо майору: «Есть!» — внезапно и незаметно, как распрямляется согнутая резиновая игрушка, встал, черный и гибкий, и, глядя вдаль, поверх наших голов, направился к нам.

Он шагал, как на парадах, оттягивая носок, но это не казалось смешным, потому что у него были красивые ноги, и он это знал и любил их, он знал, что выполняет приказ, и был уверен, что именно так, весело-серьезно, необычно оттягивая носок, и следует исполнять такой весело-серьезный и необычный приказ. И вдруг я поразилась тому, как неотвратно, парадно-торжественно приближается Оно — то, о чем в свитеречной темноте и бесполезности думает тело.

Он прошел мимо нас.

Мы выдохнули разом и — будто знать ничего не знаем, будто не слышали ничего, будто не видели никого — заговорили, засмеялись, не слушая друг друга, но хаос из пустых слов и смеха невпопад не был хаосом, а был целен и шарообразен, в середине шара было общее чувство — лавинного облегчения — оно-то и притягивало пустяковые, как железные стружки, слова. Мы никого не замечали сейчас, мы с Ирой были как «вещь в себе», эдакая «монета в себе», и я любила Иру за то, что когда она смеялась, то ямка под губой все время пачкалась помадой, и нужно было все время следить за этой ямкой и вытирать ее салфеткой и смеяться вместе с Ирой, потому что ей щекотно было, и вся я, казалось, была поглощена заботой о чистоте Ирино подбородка, но все это время, пока говорила и смеялась, слышала, как мерно удаляются его шаги, как гремит он шпингалетом у окна, как раскрываются окна, как зашумел, будто его включили, словно радио, ветер; чувствовала, как вкрадчиво обволакивает шелк теплым воздухом и шелк становится теплым и живым, и непонятно уже: платье потеет или тело. И спиной чувствовала, как приближается он, «мой» лейтенант.

А дальше все было просто, то ли потому, что там, на улице, неожиданно запел Челентано, и голос его был раскован и хрипл — и нам — нам троим — передалась та западная раскованность и легкость, то ли потому, что после неудобства, стесненности и напряжения неизбежно должны были наступить легкость и простота, и по правилам игры это тяжелое напряжение было недаром, и чем сильнее оно, тем легче и проще потом.

Его звали Владимир, и это неудобное для произношения имя мы переделали в легкое и простое — Вова. Он был из Сибири.

— А город?

— Военная тайна!

— Мальчиш-Кибальчиш?

— Не дослужился, у Кибальчиша одна звезда, но большая. Вон Кибальчиш, позвать?

Майор был рыжий. Его звали Петр. Имя его мы не переделывали: Петр — так было смешнее. Он принес графин с водкой, и мы выпили за знакомство. Все уже определилось. Можно было уже не спрашивать, не отвечать, а только смеяться. Что бы ни говорила я, что бы ни говорила Ирина, что бы ни говорили Петр и Вова, все это не имело никакого значения. Та «монета в себе» увеличилась, вобрав в себя Петра и Вову, чтобы потом распасться на две «вещи в себе»: Вова смотрел на меня, Петр смотрел на Ирину, — чтобы потом распасться на четыре — уже навсегда. И это было похоже не на придуманные людьми правила игры, а на учебный фильм о жизни амебы: вот она питается и растет, вот вытягивается ядро,

вот две расходящиеся половинки ядра, перетяжка, разрыв цитоплазмы, две новые амебы — и титры: «В течение суток деление может повторяться несколько раз», — и поэтому наша беседа имела такой же древний смысл, как вытягивание ядра перед тем, как ему поделиться, и потому велась сама собой.

Вова говорил о том, что едят в Сибири, а именно: оленину, медвежатину, рыбу форель и другие редкости. Я удивлялась, как легко и красиво он говорит. Люди хорошо говорящие поражали меня, и я, оцепенев, могла смотреть на то, как они говорят, не вникая в смысл, часами, это чувство было сродни смешанному чувству собственной ущербности и восхищения, с этим чувством я смотрела на прекрасные лица, на стремительно бегущие в ночи сверкающие трамваи, на медлительно переливающиеся движения кошек и на удивительный цвет кожи негров. Я говорила трудно, произнося каждую фразу в голове, строгая ее в себе, и потому фразы выходили на свет запоздалые и деревянные. Но иногда говорила хорошо, не понимая, как это получается, даже не зная точно, что говорю, слушая свои фразы как чужие, и потом пересказывая свои произнесенные фразы самой себе, удивляясь их смыслу, тому, что высказанная мысль никогда не приходила мне в голову и, значит, была совершенно независима от меня.

И я заворожено наблюдала, как легко вылетают слова из Вовиных губ, будто он их выдыхает вместо воздуха, и они пузырились на его губах и лопались. И я смеялась, когда надо и когда не надо (мне что-то далекое и смешное приходило на ум), и смех пузырился на моих губах. Так мы сидели и пускали пузыри. Ядро все вытягивалось и должно было скоро поделиться, и я, все так же смеясь, почувствовала, что по-другому смотрю на Вову. Глаза мои разогревались, они были горячи, я поднесла к ним тыльную сторону ладони, и кожа почувствовала большую, чем сама, теплоту. Раньше, когда роговица была холодна, не теплей остального тела и гораздо холоднее, чем душный воздух в зале, предметы и люди виделись мне нерезкими и расплывчатыми, с дымчатым ореолом, словно роговица была запотевшим стеклом; теперь же предметы и люди обрели резкость, но не фотографическую, а скорее рентгеновскую (но перекрашенную: череп будет черен, плоть — белой), обнажающую конструкцию, реальность обрела угловатую завершенность скелета (вместо плоти, заполняющей и налипающей на конструкцию, — пустота белого сияющего пространства), будто я вышла вдруг на морозный воздух, где даже дымы из труб тяготеют к плотной графической выраженности, а дома — к хрупкой прозрачности, так оно и было: глаза становились горячее и горячее, и тепло, надышанное за день солнцем и людьми, казалось им холодом. Я вдруг увидела уютный зал ресторана, распаренных влажных людей (и кожей и вздохом я по-прежнему вместе с ними ощущала духоту и жару) — в морозном ярком свете, и холод высвечивал то, что навсегда останется: вечным будет стул, его конструкция, вечной будет конструкция стола, вечен — холодный блеск ножей и вилок, вечен скелет человека — пусть меняются мысли, страсти, — скелет останется вечным, а теплота, обволакивающая нас, — теплота плоти, крови, страстей, смеха, мыслей уходила в покрытые изморозью трубы вечности, тяжело копилась — и превращалась в общую концентрированную теплоту, — я видела две вечности. Мой горячий глаз, замураванный в холод горячего мира, тоже был моделью мира и изнемогал от простоты и тривиальности мира, открывшегося ему. Я видела вечную конструкцию из ослепительно блестящей проволоки волос по-детски улыбающегося майора, я видела смуглый череп лейтенанта, я видела безгубый насмешливый оскал парня и колышущееся теплое тело моей подруги — все сиюминутное и вечное, и их улыбка, смуглость, презрение, колыхание плоти — все то главное, что было в них сейчас (и многое, многое главное, чего не было сейчас), все это должно было уйти в хрустальную бездну, в безликую сконцентрированную теплоту, оставив вечным то, что в них было неглавным: проволоку волос, череп, оскал черепа, кости таза, — и этот уход не был простым уходом, а был ритуалом,

танцем, в котором я, несмотря на свое всевидение, неизбежно должна была участвовать; мое всевидение было равно слепоте, и ум мой возмутился, но возмущение было бесплодным, бесполезным, предусмотренным, давно вплетенным в общий рисунок ритуального танца, и я возжелала не видеть ничего и не чувствовать свой ум, и резко несколько раз повернула голову — налево-направо, ведь ветер на морозе обжигает глаза и вышибает слезу, и я, так вертя головой, создавала ветер — и заплакала, и слезы охладили глаза, они больше не видели так, как видели, и в них не было больше знания и глупого ума, который не может никому и никогда помочь сохранить главное.

Я медленно начала свой танец, которого от меня, наверное, так долго ждал мой лейтенант: я начала глядеть на него, как глядят шлюхи, — пристально и ласково-завывно, будто уже нет никого и мы одни, только стол мешает, ну а стол — он на то и стол, чтоб его обойти, — и глаза мои блестели и были холодны, как умытая клюква.

— Вова, — сказала я, хотя ничего уже не надо было говорить, и именно поэтому необходимо нужно было что-то сказать.

И вдруг что-то грохнуло за моей спиной. Я обернулась.

Там, у окна, стоял парень с безгубым ртом. Он стоял, невысокий, костлявый, широкая белая рубаша и рядом с ним белая штора надувались, как парус, и опадали, в них бился горячий ветер, лицо парня было розово и гневно, пристально, как в пустоту, смотрел он на меня, горько-насмешливо кривился его длинный рот. Тяжелые темные бутылки с шампанским, из которых он расстрелял пустое пространство за окном, сжимал он за стеклянные горла, и из задыхающихся горл били струи и пенились в подставленных ковшом ладонях его пьяных друзей.

— Салют! — крикнул он мне, и голос его был так тонок и пронзителен, что, дрожащий, завис в воздухе, как паутина, готовая вот-вот порваться, сверкающая и натянута; губы его дернулись, будто хотели заплакать. — Это салют!

— Ура! — сказала я тихо, машинально, а потом подумала: «Правильно, если это салют, то — ура!»

И вдруг я почувствовала: этот парень все понял. Понял, что мне открылось, понял, почему оклюквились мои глаза. Его ум вслед за моим запоздало возмутился и протестовал против извечного танца. Но горький протест этого парня выглядел таким дурацким, что губы горько-насмешливо кривились, будто следили за парнем и понимали все.

Он не знал, этот парень, что я чувствовала в себе одну вещь, которую ум мой, ослепленный увиденным, никогда не знал и не чувствовал. Он не знал, этот парень, что, кроме ледяной вечности конструкций и теплой вечности, шибяющей в нос крепким спрессованным потом миллиардов подмышек и пахов, есть третья вечность.

И я чувствовала через мысли свои и характер, через лицо свое и глаза, через улыбку и походку — эту вечность: в себе я хранила моих предков, я чувствовала их в себе и бережно, как вечный плод, носила в себе; они жили во мне, как в общежитии, каждый в своей клетушке, часто чужие и враждебные друг другу, как свекровь и невестка, но мне они были родные все, как свекровь — бабушка, невестка — мать, и я была будто комендантом в этом общежитии, где все жильцы родные. Я все помнила, не памятью, а собой, — и так жила, будто была и будто меня не было, и неизвестно было, что мое, а что не мое, меня не хватало, чтобы постичь себя, потому что меня, одной-единственной, — не было. Так было сложно жить, но не одиноко.

Он не понимал, этот парень, что смерть, естественная смерть, — это только хитрость, придуманная всем живым для того, чтобы обмануть глупую мертвую материю и — сохранить жизнь главному. Жизнь притворилась покорной судьбе.

И этот парень не знал, что эта вечность, притворяющаяся фаталисткой, фатально непредсказуема. Этот парень не знал, что, сидя вот так с клюквенным взглядом шлюхи, это сидела не я, а моя прапрабесстыдница где-нибудь в мебелированных комнатах или моя петербургская прабабка, представляющая бесстыдницу на театре, и я могу пялить глаза всю так бесстыдно, но неизвестно, что из этого выйдет: то ли все пойдет, точно по пьесе, фатально предсказанно, то ли непредсказуемое ворвется в мебелированные комнаты, где все казалось предсказанным, — ворвется мой пращур, не имеющий отношения ни к комнатам определенного назначения, ни к театрам, — с дубинкой или в черной скуфье.

— Черт какой, а?! - крикнул Вова, и я увидела крупные белки его глаз, убегающие в глубь зрачков серые радужные оболочки, — глаза его от восторга будто дышали, как потные бока усталого серого коня. — Мне нравится этот парень, а?!

И я поняла: мне тоже нравится этот парень. Мне, Вова, очень нравится этот парень. И уже фатально и непредсказуемо он подходил к нашему столу, по-дурацки встряхивая бутылки, заткнув их большими пальцами, и внутри бутылок рождалась темно-зеленая пена.

Я, полуобернувшись, ждала, когда он подойдет, и знала, что он скажет, когда подойдет. И он сказал то слово, которое я ждала: «Выпьем!» — крикнул он. Но крикнул так громко и пронзительно, как никто не ждал, и все вздрогнули, и он сам вздрогнул от своего крика и закричал еще громче и пронзительней, скороговоркой, чтобы мы привыкли к его голосу и он не казался странным: «Выпьем, выпьем! У меня еще осталось, что-то ведь осталось, за приезд, вы же приехали! Полусладкое, «Советское», еще есть в бутылках, не хватит — закажу, вы же приехали, за знакомство», — но к его голосу нельзя было привыкнуть, как нельзя привыкнуть к звуку несмазанных дверей, как нельзя привыкнуть спокойно смотреть на утопающего, если он просит — пронзительно — о помощи, и мы лихорадочно схватили свои рюмки, не замечая, что они слишком малы, эти водочные рюмки, для шампанского, подставляя их, чтобы он замолчал и занялся делом, чтобы спасти эти обезумевшие жалкие зрачки, бегавшие, будто бегают по берегу родственники того пронзительно кричащего утопающего.

Когда он наливал шампанское в мою рюмку, рука его дрожала, и, не рассчитав величину рюмки и тяжесть бутылки, он налил через край, и влага по моей поднятой руке потекла вниз, в подмышку, потом по ребрам, отделяя кожу от шелка. А он все лил.

— Хватит, — сказала я тихо, потому что после пронзительного крика в звонкой оглушенной тишине уже начали выступать один за другим звуки, как предметы в темноте, когда к ней привыкнешь, и я не хотела, чтобы мое слово нарушало тихую последовательность воссоздания той тишины, которая была до его крика — глухо-гудящей: «Хватит», — сказала я тихо.

И парень резко поднял бутылку. Так резко, что бутылка нижней тяжелой частью ударила по моей рюмке, и тут же я услышала пронзительное «прости!» и, оглушенная, бросилась собирать на полу осколки то ли рюмки, то ли тишины, почти ненавидя этого парня, который бессмысленно топтался по стеклу, и оно хрустело под ногами, обутыми почему-то в кирзовые сапоги, которые выглядывали из широких брючин.

Я собирала осколки одной рукой, зажимая их в ладони большим пальцем, а другой размахивала перед собой, отгоняя парня, задевая его лицо и руки, но не могла отогнать от себя его пронзительный голос, буравивший мои уши, и мне захотелось ударить его по губам, по безгубому рту, из которого исходил сплошной без перерыва голос: «Отойди, я сам, это я виноват, я, бутылка-гадина, я сам...» — я разогнулась, чтобы ударить, но увидела под своими глазами его голову, белые, как слоновая кость, редкие волосы и ярко-розовую, как у младенца, кожу, из которой

росли волосы, и желание ударить и жалость к его младенчески-розовой коже слились в моем крике, похожем на визг: «Замолчи!»

Парень попятился и сел на стул у соседнего свободного столика, и виновато глядел, как я выковыриваю, рискуя обрезать, стекло из паркета. Стекло туда вмяли его сапоги!

Тишина вновь устало восстанавливала себя, вновь создавала себя такой, какой должна быть, медленно и стремительно, как проявляется фотография.

Покойно колыхалось смеющееся тело Ирины, и подбородок ее был густо испачкан красным, и я невольно на мгновение испугалась за нее, связывая острые осколки в своей руке и кровавую полосу на ее подбородке, как причину и следствие. Петр тоже смеялся, глядя на Ирину, и тер свой подбородок там, где Ирнин был испачкан, и было неизвестно, видят и слышат ли они нас.

Спокойно, по-хозяйски смотрел на меня Вова, он подсказывал мне, где лежат те осколки, которые видны ему; он постукивал своей рюмкой по колену и, наклоня голову то в одну, то в другую сторону так, чтобы стекло обнаружило себя сверкающей гранью, удовлетворенно, когда я находила осколок, говорил: «Глаз у Вовы — ватерпас. Вон еще один, да нет, прямо. Лучше бы официантку с веником позвать, копаешься...»

Но я знала, ему нравится, что именно я собираю осколки, это было по-хозяйски, и мне нравилась моя роль приниженной хозяйки, и еще казалось, что ему хочется разбить и свою рюмку, как то полагается гусарам, но он не решается, это выглядело бы в данную хозяйственную минуту нелепо и разъединило бы нас. Наконец я собрала все осколки, их было много, но все они были мелкие и уместились в одной руке, и понесла их за перегородку, отделявшую зал от буфета и кухни.

Там, за перегородкой, сидела официантка и смотрела телевизор. Телевизор стоял на газовой плите, плита была без конфорок и решеток, наверно, ее списали и заменили современной электропечью. Видно было, что официантке скучно смотреть телевизор, но смотрела она напряженно, тайно радуясь, что не напрасно, с пользой для себя и своего духовного развития, уходит ее скучное рабочее время. Здесь было слышно все, что происходит в зале, и она наверняка слышала крик парня, мой крик и звон разбившегося стекла и, тоскуя оттого, что сейчас кто-то войдет и попросит убрать разбитую посуду, напряженно вглядывалась в экран телевизора, отдавая минуту, когда придется встать. Я вошла, ее передернуло, но она не повернулась ко мне, а только еще тоскливей впилась в телевизор, вбирая в себя последние кадры, и мне казалось по мучительному, сдерживаемому покачиванию ее головы, что она хочет ускорить эти кадры, чтобы увеличить для себя спрессованное в них время, свободное от нас.

— Вот, — сказала я, протягивая ей ладонь с осколками и глядя не на нее, а в телевизор. — Рюмка.

— Только? А шуму-то, — сказала она, не поворачиваясь, и я почувствовала, как она расслабилась и время потекло для нее по-прежнему медленно.

— Куда выбросить?

— Туда, — кивнула она, не спуская глаз с телевизора, и я обиженно подумала, что надо бы написать жалобу на официантку и ее телевизор.

Когда я высыпала стекла, один осколок прилип к пальцу, и я другой рукой попробовала стряхнуть его, но он глубоко вонзился мне в палец, и я постояла над ним, тихо ожидая, когда ко мне придет чувство страха и любопытства, зная и предчувствуя, как все будет дальше. Потом я раскочаила и вытащила стекло, как жало, быстро и осторожно. Пошла кровь. И чем больше вытекало ее, тем сильнее становилось детское чувство ужаса перед тем, что никогда не должны видеть, жалости к онемевшему пальцу, который должен умереть, потому что из него выльется вся кровь, и тайное торжество, что у меня, что не у вас вытекает такая красивая буйная жизнь, что во мне живет сама по себе такая красивая, сильная

кровь, — и прикрыть рукой и показывать только друзьям, сгрудившимися, как стадо, глухо почуявшее опасность, и бежать, плача, завывая от жалости к себе, от ужаса, что могу умереть, и торжественно крикнуть маме: «Кровь! У меня кровь!» От всего этого во взрослой жизни ничего не осталось, если не прислушаешься к себе, кроме слова, которое я выговариваю сейчас внешне спокойно, но мысленно торжествуя, потому что маленькое несчастье оторвет официантку от телевизора и на какую-то долю времени моя кровь сблизит нас.

— Кровь, — сказала я.

— Обрезалась? — спросила она меня машинально-участливо. И не повернулась.

И я тихо заскулила, слизывая кровь с пальцев, она была почему-то кисло-сладкой, как шампанское.

Какого черта эта тетка должна была поворачиваться ко мне, какого черта она должна сблизиться со мною из-за какого-то пальца, когда, может быть, каждый день она видит разбитые в кровь морды и должна из-за этого отвлекаться от телевизора и звонить в милицию, может, ее тошнит от крови, и если б не надо было вызывать милицию, глаза б ее не глядели на эту чужую пьяную кровь напоказ, а сейчас не надо милиции...

Я не заметила, почему она вдруг оторвалась от телевизора и подошла ко мне. Она взяла мою руку и сказала, глядя в сторону: «Ох, бабы, каждый месяц из них течет, а палец обрежут — и в рев», — и ее грубые слова, какими, наверное, и должны говорить официантки, были не похожи на ее строгое лицо учительницы.

Она открыла духовку, и зев духовки был неожиданно бел, и достала оттуда бинт и склонилась над моим пальцем, а я, будто перенимая от нее эстафету, тупо, поверх ее головы уставилась в телевизор, словно нельзя было оставить без присмотра бегущие, как время, кадры.

— Я попрошу! Сам! Фужеры! Пять, нас пять, шампанское, — услышали мы пронзительный голос и поглядели — в первый раз — друг на друга, мы не сблизились с официанткой, слишком легко, наверное, я обрезалась для этого, но что-то все-таки тронулось, потому что я спросила ее: «Вы знаете этого парня?»

— Нет, — сказала она, — не знаю, но где-то видела.

Он вошел в наше затишье, бормоча и вскрикивая («Пять фужеров и бутылку»), и здесь, в чистой, отделенной от возбужденной похотливой части зала комнатке, почти домашней, я подумала, что голос его неопрятен, от него морщишься, как от запаха нестиранных носков, и что парень пьян, а я слишком трезва. И он, почувствовав мою мысль, перешел на шепот, губы его мучительно кривились, удерживая неподвластный им голос, и там, где в словах были звуки «ш» и «ж», он резко посвистывал: «Мама-ш-а, ш-ам-панское, по-ж-алуйста, и фу-ж-еры, пять: четыре плюс один лиш-ний — всего пять». Официантка ушла.

Он вдруг увидел мой забинтованный палец и шагнул ко мне. Он сделал шаг, и тело его продолжало падать вперед, будто еще не поняв, что ноги остановились, и я убрала руку за спину, словно этим могла остановить падение его тела, — и оно остановилось, и его повело назад. И так качалось, упруго и резко, как пружина, закрепленная внизу.

— Пока-ж-и, — просвистел он, и я гордо показала ему свой красивый бело-снежный палец, и его лицо мгновенно и незаметно застыло и превратилось в маску боли и ужаса, и в этой застылой маске провал рта, возвышенность носа, провалы глаз и возвышенность надбровий теряли свое конкретное назначение и были как затухающее и ускользающее движение волны той мгновенной судороги, превратившей его лицо в маску, и я инстинктивно пожалела его, мгновенно почувствовала боль его обрезанного пальца, забыв, что это мой палец обрезан.

А он стоял и раскачивался, будто плача всем телом, раскачивался, как перед этим раскачивался вяз за окном.

— Это я, опять я, видишь, это я: из-за меня снова, — пробормотал он скрипучей скороговоркой, и я вспомнила, что это мой палец.

— Все, уже все, — сказала я и встала к нему совсем близко, чтобы уменьшить амплитуду его покачиваний.

— Уйдем, — сказал он вдруг, — убежим давай, пока они, — он оглянулся, — там ждут фужеров. Уйдем в туалет. А потом убежим, а они пусть — шампанское...

— Нет, — сказала я и зачем-то добавила. — Потом, может быть, потом.

Мы вошли в зал следом за официанткой, и Вовина циничная фраза: «Смертью храбрых?» — о моем запеленатом, как мумия, пальце была мне почему-то ближе, чем гримаса боли на лице парня. Клюквенный взгляд не получался у меня, но я знала: необходимо, чтобы он получился, — и тогда все пойдет как надо.

Я выпила, и еще, и со мной пил мой лейтенант, и слепо смотрел на меня лейтенант, я видела его ласково-влажные белки, смугло-голубые, словно очищенное от скорлупы куриное яйцо. И я вся без остатка превращалась в тело, бесстыдное, до озноба жаждущее, ум мой пытался противиться этому, но был уже чужой мне, и тело, жадно рассасывающее его, как гнойник, грозящий ему гибелью, из расслабленно-чувственного постепенно становилось тупо-осмысленным, как взгляд зверя, оно осознало себя и не верило еще этому, и потому тяжело и пристально наблюдало в себе рождающуюся цель, осязаемую, обоняемую, сладко-мучительную, дремучую, оно смутно помнило, что именно так ощущало оно себя миллиарды лет назад, будучи клеткой, только что появившейся из неживой материи, именно так изнемогала клетка от одиночества и, готовая одновременно и к смерти, и к счастью, — разорвалась пополам, забыв навечно тот миг, подарив память о нем — моему телу. Но странно: тело мое хотело остаться с Вовой (Вова был смугл, а белая, неспособная к загару кожа парня мне, как и всем людям, выросшим на песчаных берегах больших рек, казалась чем-то неприличным и чужим), но меня тянуло уйти с парнем. Может, оттого, что с Вовой все казалось ясным и угнетало, как бег на месте, а с этим, даже имени его не знаю, все было неизвестно, как и то, чем закончится наш побег. Мы должны были убежать с ним.

(Внимательно следите дальше: где-то здесь начнется неправда, где — я и сама не знаю.)

Я взглянула на него, и он все понял. Мы понимали друг друга, как молчаливые звери. Сумку нужно было оставить. Я медленно, так, чтобы они не трещали, открывала «молнии» на сумке, придавливая их хрустящие голоса пальцем: мне нужно было узнать, есть ли в сумке документы (деньги были у Ирины). В сумке лежала детская книжка «Доктор Айболит», пудра и помада. Память о документах и деньгах была механической, инстинктивной, движения были четкими, тело было умным без ума, оно, увидевшее цель, напряглось и собралось, как умное тело зверя, и все совершалось независимо от меня, как то бывает в снах.

И как во сне я увидела, что Вова искоса наблюдает за мной, и не осознала этого, но затаилась, и начала дергать «молнии» туда-сюда, будто просто так, и почувствовала, что хочу, чтобы «молнии» сломались, так как было жалко оставлять новую кожаную сумку, а если бы «молнии» сломались, было бы не так жалко потерять ее навсегда.

Парень тоже увидел Вовин взгляд и то, как я затаилась, но, наверное, подумал, что я смирилась и решила остаться, уж слишком машинально и потому обреченно я двигала «молниями», и они создавали ритмичный урчащий звук, будто нарастающее мурлыканье дремлющей кошки. Наверное, поэтому, страшая моего жаждущего и смиренного тела, пытаюсь заглушить обреченный, убыстряющийся ритм моего падения, неизбежного, как неизбежен танец первобытных народов, если ускорить ритм тамтамов, он закричал: «А у меня есть раки! Целый портфель раков, уже вареные, можно кушать, но холодные, но кушать можно, наловили сегодня, вареные раки!»

Он бросал их на стол, и они падали с сухим стуком, как красно-оранжевые гробы, имеющие клешни, чтоб самим хоронить в себе своих мертвецов, и черные, будто выдавленные из отверстий, глаза; их запах был сладковат, а вместе с запахом специй еще более омерзителен и тошнотворен: от них разлило распадом и тлением, сваренной вместе с укропом расплзшейся плотью. Я не могла смотреть, как разламывают их красные остовы, я не могла вынести этого, будто пожирала мою смердящую плоть с выпученными мертвыми зрачками. И слух мой не мог вынести задыхающегося свистящего шепота, удушливого, проникающего в послушно открытые поры моего тела; в темных порах свистело, как в сквозных туннелях от приближающегося поезда, и свист ударялся о костяк моего скелета и эхом уходил обратно по этим туннелям в пространство, и вся я была губкой, вобравшей свист: «Тебе все равно с кем, беги, за дверью, я через минуту, жди, у меня еще есть, все равно с кем, я же весь вечер, я всю жизнь, а он так, тебе все равно, и ему все равно, а мне, беги...»

Я встала и очень быстро и очень прямо, боясь расплескать поднявшуюся во мне дурноту, неся себя, как помойное ведро над паркетом, пошла — по паркету — к лестнице, по ковру на лестнице, по мрамору вестибюля, по металлической решетке у входа (руками — по дереву дверей) — и за двери в темноту, за угол, по асфальту (горячей щекой — о щетину вяза), за угол, по земле — на горку, ногами-руками по теплой земле, руками обнимаю деревянную трубу, потому что горка была не горкой, а земляным складом, и с этого склада, и с этой обледенелой зимой горки мы катались в детстве на досках от посылочных ящичков, и мы летели на них далеко-далеко, и пока летели, мальчишки тискали нас и, тиская, целовали слюнявками, как у лошадей, губами, и слюна их была пресной и чистой, как вода, как собственная слюна, и мы облизывали их слюну со своих губ и шли, падая, в гору, чтобы все повторилось.

Я увидела его сразу, но не поверила своему зрению, потому что было темно, и я долго вглядывалась в темноту, глаза были готовы поверить во все, что померещится. Он стоял под вязом, из окна на него падал свет, он крутился на месте и был похож на упавшую с дерева во сне белую птицу.

— Эй! — сказала я, и он полез на гору, помогая себе руками, а белая рубаша за его спиной болталась, как подбитое и бесполезное крыло, и я боялась чего-то смутно, потом поняла: боялась, что вернется вечерний сумасшедший ветер и унесет его, подхватив за обвисшее крыло.

Он уцепился за трубу и хотел что-то сказать, но я плотно зажала его горячий рот ладонью, потому что из темноты в объемную светлую дорожку впрыгнули трое, карикатурно схватившись одной рукой за голову, они бегали вокруг вяза, не решаясь перейти границу света и тьмы, будто дорожка была застекленной (у одного на боку плоским блином висела моя сумка, она билась о его бедро и звенела, как бубен: в ней были медяки); потом, наглотавшись света, все трое разом бросились в темноту, из которой пришли, все так же держась одной рукой за голову. Чуть слышно гроыхала моя сумка, все реже и жалобнее, будто ее, как живую, силком уводили от меня и она напоминала о себе голосом. Когда ее не стало слышно, я догадалась, что рукой офицеры на бегу придерживали фуражки, и засмеялась, отводя руку от губ парня, словно и ему разрешая смеяться. Но он не смеялся, и я, смеясь, почувствовала, что моя ладонь, которая зажимала его рот, не участвует в моем смехе, будто она заодно с парнем, и что в ней отпечатались его узкий полуоткрытый длинный рот, передние зубы и детский острый подбородок, линии судьбы были расплавлены горячим дыханием, и вместо них — его рот, зубы, подбородок. Я украдкой потерла ладонь о шершавую доску трубы, точно соскабливая рисунок, но не помогло.

— Ну? — сказала я. Мне стало тревожно. И страшно мне стало от того, что он так долго молчит.

— Пошли, — сказал он.

И мы начали осторожно спускаться с горы, я держала его за плечо и все старалась меньше давить на него, чтобы парню казалось, будто я легка, — и рука моя налилась от этого тяжестью. Когда спустились, он резко рванул вперед, я едва не упала и захватила его под руку как крючком — своей рукой, но очень неудобно, так что его локоть упирался в мой живот, ему в бок бил мой локоть, а кожа наша прилипла на локтевых сгибах друг к другу намертво; так мы шли куда-то, и я спросила парня:

— Ты местный? — И он ответил: «Местный», — и мы замолчали, мы шли дальше, как посторонние пешеходы, и переплетенные руки наши были нам чужие, будто шла между нами вразвалку, толкая нас в бока, некая неизвестная величина «икс».

Темнота была плотной, казалось, что глядишь не из себя, а внутрь себя, и вдыхаешь и выдыхаешь в себе, будто в себе живешь и дышишь, и поэтому становилось душно. Я закрыла глаза, собираясь поспать, потому что не чувствовала пространства и своего движения, тело было неподвижно и замкнуто в духоту темного одеяла.

Но когда закрыла глаза, сразу догадалась, где мы идем: из темноты начали выплывать запахи, они выплывали будто из памяти, и можно было усомниться в реальном существовании источников запахов, но рядом со мной шел один из таких источников — от него пахло общим вагоном, и в его реальном существовании сомневаться было трудно — кожа моя в сгибе локтя горела, как горят, наверное, пролежни, — и поэтому моя память из запаха мокрой древесины, пара, чистого тела и березовых веников достроила розоватое здание городской бани, и это эфемерное, построенное в уме здание было точной копией того, мимо которого мы проходили; мы прошли мимо котельной (запах угольной пыли), пекарни (тут не надо уточнять); дальше память в своей строительной горячке опережала запахи, и потому, когда на сооруженное в голове белое здание, сверкающее и ничем не пахнущее, обрушивался запах больницы, тогда только становилось оно завершенным, как пустая комната заселенной: реальное здание было лишь абстрактным знаком, а запах — музыкой, более материальной, чем сама материя.

Так мы шли, вдыхая музыку построек, и чем дальше мы шли, тем быстрее, роднее и тревожней становилась эта музыка; ноты я могла уже называть по именам: запах клубники (двор Калитиных, у них весь двор в клубнике), запах хлорки (двор Муравьевых — у них уборная стоит спиной к улице), запах собачьей будки (двор Бобковых, их дом построен на месте снесенной керосиновой лавки); запах кроликов вперемешку с запахом роз (торговые дворы Ивашкиных, Нессе, Халмуратовых, Дроздовых: летом продают розы и гладиолусы, осенью — кроликов); если мы пройдем этот переулок, то грянет разученная с детства симфония запахов моей родной улицы. Но мы остановились — запах сушеной рыбы — двор Синицыных (дядя Боря рыбак, браконьер, но тихий: черная икра только для себя, не на продажу; в детстве мы, голубые патрули, с ним «боролись»).

Его кожа отклеилась от моей, как пластырь. И он отошел от меня и начал возиться у гаража с замком. Я спросила: «Ты в этом доме живешь?»

— Да, — сказал он твердо. Но я знала, что это неправда, я ведь хорошо знала, кто живет в доме и чья машина стоит в гараже, и слишком сильно от него пахло общим вагоном, чтобы можно было ему поверить.

Я отошла и встала под вишней, ствол вишни был во дворе, а ветви всей тяжестью обрушивались на забор и стекали до самой земли. И я просунула руку между досок забора (невозможно было стоять вот так, без дела, когда там, у гаража, совершается что-то ужасное), и рука моя нащупала ствол, рука моя почему-то тряслась, когда я лихорадочно обшаривала вишню, кора ее была шершавой, беззащитно-доброй под моей по-мужски наглой рукой, и стыдясь своей вороватой руки, участвующей в чем-то порочном и недозволенном, я закрыла глаза, и тьма

перестала быть тьмою, а превратилась в боль, единую для моих глаз и для вишни, с кожи которой я оторвала смолу и запихнула себе в рот и яростно жевала, жевала, осклизлую и сладковатую, и рот мой наполнился слюною, я будто грызла ту нить, которую никак не могла оторвать и перегрызть, нить, которой была связана с чужим мне парнем, эта нить не позволяла мне ни убежать, ни закричать, я только чувствовала по дрожанию нити, как трясутся его руки и не могут повернуть ключ в замке, и я жевала, жевала смолу, потому что мне было страшно. И мне было до отчаяния смешно, когда я представляла себя со стороны, мое тело позировало перед кем-то, оно спокойно стояло, мое жалкое, экономящее жесты тело, оно всегда сторожило меня и боялось лишних движений, сознавая, что они не лишние, они — донага, до сути разоблачающие, мое тело никогда не совпадало со мной, в его неподвижности было что-то от египетских статуй — в их внешней неподвижности таился сплав всех существующих ритмов — думай себе, кто что придумает.

Но сегодня оно знало — я должна совпасть с ним, и все мои мысли и мысли тех, кто мог меня увидеть, неизбежно совпадали с его, тела, целью и неподвижностью. Я стояла под вишней — будто независимо, сама по себе, отдельно от парня, и будто на «стреме», готовая к бегству и оцепенелой покорности; и так, будто идет дождь и я забежала и спряталась за вишней (знать ничего не знаю о находящемся в трех метрах от меня парне), и так, будто мы парочка, я дамочка, а кавалер пошел справить мелкую нужду, а я стою в стороне и будто пытаюсь не слышать неприличный звук разбивающийся о землю струи. Думай себе, кто что придумает.

Двери гаража заскрипели неожиданно, и неожиданно заговорил парень — скрипуче, как несмазанные двери, — у него, наверное, что-то было с голосовыми связками, я их представила вдруг ржавыми, словно водопроводные трубы, там, в розовой влажности горла, — и хотелось откашляться вместо него.

— Ты здесь? Садись.

И я послушно побрела к нему, я пролезла в машину, мы звали машину «козел», это был «газик»-урод, на котором Синицын приехал с фронта, в машине воняло рыбой и было холодно, как и должно быть в брюхе у рыбы, и когда я пролезла мимо колен парня (он уже сел в машину, но другую дверцу не открыл), я упала на него, нечаянно и намеренно, и на секунду ощутив его теплое тело и оторвавшись от него, я больше не могла ни о чем думать: мне стало смертельно холодно, когда я оторвалась от него, и я начала дрожать от холода; то не было дрожью желанья, мне просто было холодно, и мне надо было согреться от его тела — больше ничего, но мы выехали из гаража, и мне было непонятно, зачем мы выехали и зачем я должна ждать, когда я должна согреться немедленно.

Он вдруг просигналил, и тут же откликнулись все собаки со всех дворов и заорали петухи, и мы ехали в лающей, лязгающей цепями и орущей на нас тьме, которую мы разрезали фарами пополам. Мы проехали мимо моего дома, но запах рыбы и холод отшибли у меня всякую способность вспоминать, и я просто машинально посмотрела в ту сторону, где стоял мой дом, и в это время парень посмотрел на меня, лицо его от слабого света было желтым и излучало свет и тепло, и мне до слез захотелось прижаться к его горячим желтым губам своими холодными, расстегнуть его дурацкую рубашку и — греться, греться...

Я радовалась ему, как единственному человеку, встретившемуся мне в рыбьем мерзком брюхе, где я промерзла насквозь, — и нам нельзя было расставаться, потому что поодиночке мы здесь сдохнем.

Я спросила его, куда мы едем, только словами можно было сейчас скрыть то, что не в состоянии было скрывать тело, и тогда ему на помощь пришли слова, ясные и простые, они были фальшью и обманом, все во мне было фальшью и обманом, потому что мне было плевать, куда и зачем мы едем, все во мне пыталось скрыть меня, и я не знала, для чего я так скрываюсь в себе, будто скрываю неведомо что, а не простую мысль — греться, греться, только б согреться.

— За сайгаками, — сказал парень.

Я ждала обыкновенной обманной фразы — «на речку» или «покатаемся», и потому не сразу поняла, что он сказал, и долго думала об этих двух словах, тупо глядя вперед. Мы ехали по степи, без дороги, в светлом коридоре (от фар), кончающемся тупиком, черной стеной. Мы мчались к стене, но не приближались, она отступала, медленно пятилась, но не исчезала: впереди был тупик. И так же слова «за сайгаками» пятились и пятились от моего сознания, пока я не привыкла к ним, без конца повторяя их про себя, не вдумываясь в их смысл, потому что мне было холодно и у меня было одно желание — согреться, и моя дрожь и беспрестанное повторение двух бессмысленных слов совпали, и желание согреться обрело форму «за сайгаками», желание назвало себя. Слова перестали быть посторонними и не мешали мне ждать, когда я наконец расстегну его рубашку и всем телом прильну к нему. Ожидание было мучительным, оттого что эта сцена до головокружения навязчиво прокручивалась у меня в голове, но именно из-за навязчивости она обрела конкретность, и ожидание стало радостным: я будто увидела парня там, далеко, и мы приближались друг к другу, и ожидание было оправданным, как было оправданно то, что автомобиль мчался, как сумасшедший, — между нами была дорога, и мы мчались друг к другу, как сумасшедшие, скоростью сокращая расстояние и ожидание.

Машина остановилась так резко, как будто мы, идя навстречу, неожиданно столкнулись друг с другом в темноте.

Мы сидели, не двигаясь, далекие друг другу, как и раньше. Я ждала. Потом он, оторнувшись к окну, скрипуче спросил:

— Ну и что мы будем делать дальше?

И эта пошлая фраза была мне знакома, и мне стало противно, что сейчас мы будем говорить пошлые слова, и без них нельзя обойтись, и нельзя обойтись без того, что он будет делать со мною, когда мне нужно только согреться, а просто согреться без того постыдного, что он будет делать со мною, нельзя.

— А то! — сказала я. — А то и будем делать!

Чем бесстыдней, тем лучше. Я полезла в глубь машины и задела своим коленом его колено, и он дернулся, отодвинулся, и мне стало опять противно, так противно: завез и дергается.

В глубине машины лежали сухие сети и мешки, я села на них и сказала резко:

— Иди сюда! — и поморщилась от своей же фразы. Он не двигался. Молчал.

— Как тебя зовут хоть? — спросила я.

— Без разницы, — сказал он, подумав. — Тебе ведь без разницы.

— Примитив, — сказала я. Я все морщилась, мне противно было говорить фальшивые слова, когда мне так холодно, так холодно.

— Люди, когда говорят, всегда примитив, — сказал он медленно.

— Поговори со мною, мама, — сказала я. — Иди сюда.

— Нет, — сказал он тихо.

— Что? — Я встала и упиралась головой в брезент.

— Вот так, — сказал он, и я почувствовала, что он улыбается.

— Какого ж, какого ж ты завез меня? — крикнула я.

— Такого, — сказал он. — Чтоб они, чтоб не им... — Он запнулся.

— Чтоб никому, — подсказала я. — Да?

— У тебя сын, — сказал он шепотом. — И муж.

— Узнал, да? А я не знала! — крикнула я и села опять на мешки, мне хотелось плакать; черт возьми, мне было смертельно холодно, мне ничего не нужно было, только греться бы, я не хотела больше обманных слов и сказала тихо-тихо: «Мне холодно, слышишь, холодно», — и удивилась, что пар не идет изо рта.

— Я знаю, — сказал он устало.

— Мне холодно, — сказала я. — Иди сюда.

— Нельзя, — сказал он, — ты не должна. — И я вдруг не то увидела, не то вспомнила его глаза, его белые глаза со зрачками. Глаза праведника.

— Спаситель, — сказала я, меня слегка подташнивало, словно от голода, мы не понимали друг друга, и если бы сейчас он пришел ко мне, я б ударила его. — Спасители. Ненавижу.

Я встала, шатаясь, мне нужно было выйти из этой промерзшей машины, я прошла, упираясь в его грудь, и не почувствовала окоченевшими пальцами тепла его тела, мне было так холодно, что и он бы уже меня не согрел, — и, открыв дверь, задыхнулась от сухого жара, страстно рванувшегося мне навстречу.

Я упала как подкошенная, будто никогда не умела стоять и ходить, будто внезапно растаяли мои ледяные ноги. Я упала лицом в степь и вдыхала садняще-горький запах полыни, был бесконечный вздох без выдоха, пустота моего тела заполнялась полынной горечью, и я медленно оттаивала, и спину мне прожигало чем-то горячим насквозь, смятая полынь распрямлялась, прорастая сквозь меня, и я корчилась от боли и повернулась лицом к небу — и ослепла, меня ослепили горячие звезды, они жгли меня, как солнце, как тысячи раскаленных осколков разбившегося там, в черном небе, солнца, и оттуда, с неба вместе с жаром шел чистый и пронзительный запах: звезды пахли полынью.

И все перевернулось: я лежала в черной небесной степи, и сквозь меня прорастали звезды, а с земли шел одуряющий запах полыни. Весь мир был кругл, огромен, черен и горяч, весь мир пропах полынью, мир уничтожал меня и прорастал сквозь ненужное и тающее мое тело, чтобы оно слилось с ним, как змеи, расулки, ящерицы, и я берегла только глаза, еще не зная, зачем.

Я заслонила глаза рукой, и мое размягченное тело с налипшей рыбьей чешуей утончилось и удлинилось и начало свертываться медленно в кольца, спасая мою голову - глаза! глаза! - и кольца обрели тяжесть и упругость, я будто рождалась заново из земли и полыни, трудно, медленно сознавая свою связь с землей и свою отделенность от нее, и превосходство свое над слепым миром, ибо имела глаза, медленно покачиваясь, тянулась вверх из колец голова, и невозможно было оторваться совсем от земли, и невозможно было прорасти сквозь стремительно убегавшее от моих приближавшихся к нему глаз небо, звезды уменьшались и уменьшались, можно было только гнаться за небом, как гнался автомобиль за ускользавшей от него черной стеной, гнаться на корабле в пустоте — и все видеть перед собой ускользающий черный тупик, и можно, перевернувшись и отделившись от земли, прорасти сквозь землю — и видеть перед собой ускользающий черный тупик, и, видя по горизонтали и по вертикали тупик и понимая, что не достигнуть его, все-таки мчаться, и этот обман зрения становился единственным спасением в лукавящем, ускользающем и слепом мире, и потому я берегла глаза.

Но я не хотела спасения. Спасения не было. Везде был тупик, тупик, тупик, и мне не нужно было мчаться, чтобы достичь его. Мне плевать было на него и на глупый, слепой мир, и на вечность, на теплую, холодную и живую вечность, все мои рассуждения были фальшью и обманом: мне ведь плевать было на моих предков и потомков, которых я не видела, я просто спасалась от самой себя и от мира. А спасения мне не нужно. Мне нужно было, чтобы мы только поняли друг друга с этим парнем, а если нет, то зачем мне вечность и предки. Зачем мне все это, если в машине сидит парень и мерзнет там, живой, невечный, а я тут, смотрю на какие-то звезды, какие-то звезды.

Я медленно встала. Глаза мои были вровень с глазами парня, если бы он здесь стоял. Вот зачем мне нужны были глаза.

Мне вдруг очень захотелось увидеть своего сына и маму, раскидавшихся во сне от жары на полу, над ними звенит по-комариному духота. В этой смертельной игре ничего не прощалось. Мир, как каждый слепец, очень хорошо слышал, не пропуская ни единого слова, даже сказанного в себе.

Я пролезла в машину за спиной парня, потому что он грудью лежал на руле, обняв руль руками. Я сейчас очень любила его, как брата, который умер сразу, как родился, он родился восьмимесячным, вдохнул в себя воздух — и умер, не выдохнув. Его звали Вова, уже назвали до рождения. Мне часто виделось, как он глотнул воздуха, а выдохнуть не может, так больно, его шлепают по спине, а воздух, как камень, застрял в горле, и он даже заплакать не может, и дело не в спянных легких: он чего-то испугался сильно — ни выдохнуть, ни заплакать. Что он увидел, чего испугался, о чем подумал в ту единственную минуту, секунду? Глаза у него были голубые, а волосы черные. И он все рос и рос во мне и рядом со мною, и сейчас ему было бы двадцать. И, может, он, как этот парень, выволок бы меня из ресторана, дал бы мне отлежаться в степи, напомнил бы, что у меня есть муж и сын?

— Поехали, — сказала я.

Парень молчал, и дыхания его не было слышно. И я испугалась, у меня голова затрубила от страха. Я ударила его по спине, сильно, и младенческим мяуканьем ответила мне машина, просигналила слабо и захлебнулась.

Парень пошевелился.

— Что ты, а, что ты? — крикнула я.

— Ничего, думал, — сказал парень.

О чем он думал?

— Поехали, — сказал парень. — Домой?

— Да, — сказала я.

Мы по-прежнему были чужие.

И снова мы мчались, будто стояли на месте, и впереди была степь, степь, степь.

Они возникли внезапно. Что-то изменилось в светлом коридоре, по которому мы ехали. Он наполнялся золотой пылью, пыль уплотнялась — и вдруг приняла очертания каких-то нелепых золотых животных, на мгновение мы увидели их крупные кургузые зады, опущенные и повернутые к нам головы. Они бежали очень быстро, друг за другом, наверное, уже давно спугнул их шум мотора. Было странно видеть, как стремительно, быстрее, чем наш автомобиль, бежали они, будто бежали золотозадые манекенщицы, след в след. Они исчезли.

— Сайгаки! — крикнул парень и газанул.

Свет фар снова выдернул их из тьмы, но теперь всех разом — их было семеро — один из них, тяжело и неловко подпрыгнув, остановился, на него наскочил другой, и они упали во тьму, другой, бессмысленно оглядываясь, все так же нагнув голову к земле, — уходил, но медленно и нерешительно, будто теперь ему было все равно, убежать или нет, и он не исчезал, третий прыгнул и вертикально завис в ночи, секунду между его рогами, похожими на лиру, колыхались звезды; остальные метались, точно наступил конец света, а один слепым комком, запрокинув голову, летел прямо на наш автомобиль.

— Стой! — закричала я и дернула за какой-то рычаг, парень локтем ударил меня в лицо. Машина взревела и, дернувшись, остановилась. Но было уже поздно.

Фары мы не выключали и, выбежав, увидели, как сайгаки собрались в стадо, недолго постояв, кротко и несмело осмотревшись, вдруг в полном безмолвии начали исчезать один за другим, будто их по одному тьма прогоняла в калитку.

Он умирал. Это был сайгачонок, вся его морда, как маленький горбик, была в крови, он вдыхал воздух, и кожа на носу, который был похож на хобот, морщилась до самых глаз; он шумно выдыхал вместе с воздухом кровь. Он был похож на горбатого уродливого ягненка, волосы его еще были темны и курчавы. Желтые глаза его доверчиво смотрели на нас, им было больно, и они боялись, что мы уйдем и оставим его наедине с тем страшным и главным, что совершается с ним.

Парень достал складной нож, сайгачонок, увидев лезвие, все так же доверчиво и благодарно смотрел на нас, но тихо заблеял, точно спрашивая: «Зачем?» — и далеко в степи ему ответил голос его матери. Я отвернулась.

Потом мы сидели, прислонившись к колесу. Он плакал трудно, будто кашляя, выхаркивая какие-то слова:

— Опять я... Всегда я... Зачем?

Я плакала, потому что он плакал, а я не могла даже дотронуться до него и успокоить — между нами лежал мертвый сайгачонок. Мне нетрудно было плакать. Мы были страшно родные и страшно чужие друг другу. Кровь сайгака сблизила нас — мы сидели в степи и плакали — и разъединила нас навсегда, мы в последний раз вот так сидели и плакали. Потому что во всем была я виновата. Я была повинна во многих смертях — это был мой рок, это был мой крест, но об этом я не расскажу никому, не покаюсь, свое я буду нести на себе, не переключивая, я не хочу спастись — он стал бы мне родным, этот парень, если бы я сказала хоть слово, но я не хочу спастись — и потому будет мне чужим навсегда, — и я тихо отделаюсь слезами.

Мы ехали по старой дороге, по которой уже никто не ездил.

— Дальше нельзя, — сказала я. — Там овраг.

Он развернулся.

Мы молча доехали до моего дома и молча расстались. Я стояла за дверью веранды и прислушивалась, когда он отъедет. Он долго не отъезжал. Потом я услышала его шаги, что-то упало на крыльцо, шаги, шум мотора. Все. В светлых сумерках я увидела: на крыльце лежит окровавленный сайгак.

Утром мне снились котлеты. Я проснулась: дом был пропитан запахом котлет: мама перед работой нажарила. Странный был запах: будто котлеты жарились на прогорклом масле. Но об этом некогда было думать. Я не проснулась, меня разбудили.

Разбудила меня Люба. Она была дурочкой, ее так и звали — Люба-дурочка. Ей было уже двадцать пять, но лицо, тупое и бессмысленное, было навсегда пятнадцатилетним. Ее распирало от не нужной никому плоти. В детстве мы играли с ней, потом пошли в школу и начали смеяться над ней. Она осталась с дошколятами и каждый год собиралась в школу с какой-нибудь очередной семилетней подружкой, но та уходила умнеть, а Люба оставалась на скамейке у своего дома и ждала следующего сентября, до двадцати лет все ждала, когда пойдет в первый класс. Пришло время, подружки начали выходить замуж и рожать детей, и мы, смеясь и издеваясь, лукаво-серьезно вели с ней разговоры о женихах, и то, о чем она горячо и наивно мечтала вслух, мы с удивлением находили в своей душе. Каждый год, приезжая домой, я замечала, как грустнеет ее лицо, она, наверное, поняла, кто она, или ей объяснили. В ней не было глупости, в ней просто осталось все, что в нас было в детстве.

— Вставай! Вставай! — кричала она. — На свалке машина разбилась. Милиции! Ехали и выли: у-у! Как на пожаре.

Я бежала и все время смотрела в землю: я надела резиновые шлепанцы-«вьетнамки», а в них легко упасть. И потому, когда мы добежали до свалки, я сразу, подняв глаза, увидела его. Его уже накрывали простыней. Только и увидела рубаху в пятнах крови, горько-насмешливый длинный рот и светлые ресницы на иссиня-бледном лице, и белоснежным покрывали, и «разойдись», «разойдись», и «газик» в овраге вверх колесами, и багрово-красный Синицын с милиционером, а рядом Люба и нехотя расходящиеся люди.

Шла обратно. Люба меня догнала и выпалила: «Это Саша Ладошкин». И земля накренилась. Я запомнила: белая, в трещинах утренняя земля неслась вокруг меня.

— Что?

— Саша Ладошкин. Помнишь?

Я его всегда помнила, Сашу. Я любила его и не знаю, кого еще после так любила. Мне было шесть. Ну и что? Я помнила, как пошла к нему на день рождения, он был младше меня на четыре месяца, одна, вечером, и быстро стемнело, и я потерялась в маленьком городке, я не узнавала ни клуба, ни кинотеатра. Меня подобрала молочница, она развозила молоко на тележке и сейчас его возит, она всех знала в городке, и мы, продавая молоко, медленно кружа по каким-то молочным маршрутам, подходили к Сашиному дому, он жил рядом с Сеницыным, и молочница пронзительно кричала в темноту: «Мо-ло-ко!», и молока становилось меньше, и голос ее слабел.

Я пришла к нему очень поздно. Гости уже разошлись. За столом сидели Саша и моя мама. На столе был неразрезанный торт. Саша сидел и, сцепив руки кольцом, оберегал торт. Он так давно сидел. Ждал меня. Какое у него было тогда лицо, я не запомнила.

Зачем он поехал к оврагу?

Веранда в детском саду. И я с Сашей за верандой. Мы сбежали с «мертвого» часа. Саша говорит:

— Хочешь, я научу тебя курить?

— Хочу, — говорю я.

Он зажигает спичку и, всунув ее в рот, надувает щеки, стараясь не дышать. Спичка гаснет у него во рту, изо рта выходит дым. Потом он прикасается своими длинными узкими губами к моим, и губы его пахнут серой. Потом «курю» я, и мы опять целуемся.

Больше я ничего не помню. Его отец сошел с ума, и они с матерью уехали из города. Только помню, что я его любила, и не знаю, кого еще после так любила.

Зачем он поехал к оврагу?

Мы сидим с Любой на крыльце и едим котлеты. Они безвкусные, будто смолу жуешь.

Люба рассказывает мне о Саше. Жил в Пскове. Учился в техникуме. Отслужил в армии. Приехал позавчера. Остановился у Сеницыных.

Вчера утром они ездили за раками. Вечером куда-то ушел. Ночью Саша должен был поехать на рыбалку. Сеницын дал ему ключи от машины. Он разбился под утро, только светало. Ехал по старой дороге, по которой никто не ездит, за поворотом — овраг. Оврага ведь раньше не было.

Откуда Саше знать?

— Вот. А еще он приехал жениться. Он говорил дяде Боре — у него здесь невеста.

— Невеста? Откуда? — говорю я. — Ведь ему было шесть лет, когда он уехал.

— Хочешь, я научу тебя курить?

— Хочу.

— Откуда? — говорю я, никто ведь не знает, что я понимаю, откуда. Но Люба молчит, и я поворачиваюсь: Люба изменилась — глаза ее счастливы, лицо смущенно рдеет, как у невесты.

— Откуда? — говорю я.

И Люба несет какую-то чушь: он тайно приезжал каждый год и обещал на ней жениться, и писал письма ей из армии, но она их сожгла, потому что думала, он обманывает. А вчера он приходил, но она не вышла.

«Письма? Да она читать не умеет», — думаю я и вдруг начинаю верить ее горячему шепелявому рассказу. Сейчас рождалась легенда. Завтра ее будет рассказывать весь город. Девчонки будут рассказывать друг другу о том, как солдат полюбил дурочку, и любил ее с детства и до гроба. И каждая будет рдеть и тайно верить, что Саша любил ее и приехал к ней, а не к дурочке, но так спешил, что разбился.

Для этого ты поехал к оврагу?!

Я начинаю злиться на Сашу, как будто он живой.

— Нет, — говорю я Любе, — ты говоришь неправду. Я тебе скажу, как все было на самом деле.

И вдруг лицо ее заплакало. Плакали бессмысленные глаза, плакали красные толстые щеки, и низкий лоб, и приплюснутый нос, и распухшие большие губы, и я поразилась, как похожа Люба на меня, когда я плачу, я будто смотрела в зеркало. Но у нее, такой похожей на меня, не было ни мужа, ни сына, и не будет. А у меня есть все, все. И Саша! И Саша!

— Я верю, Люба, я верю тебе! Люба...

Если я скажу, как было на самом деле, все девочки нашего города подойдут ко мне и по очереди плюнут мне в лицо. И правильно. Никто, Саша, не должен знать, как было на самом деле.

— Хочешь, я научу тебя курить?

— Знаешь, — говорит Люба, она уже улыбается, — это сайгачьи котлеты. Я ела один раз.

Из ресторана я ушла с Вовой.

Начало уже светать, когда кто-то постучал в дверь и спрашивал меня. Мама сказала, что я у подруги, и не открыла. Через стекло веранды она увидела парня в белой рубахе. У него был длинный рот. Мама где-то видела этого парня. Он бросил на крыльцо сайгака и уехал.

Все, что произошло утром, — правда.